

УДК 82-54
ББК Ш100.3

ГЧНТИ 11.15.89; 16.21.27

Код ВАК 23.00.01

А. А. Коряковцев **A. A. Koryakovtsev**
Екатеринбург, Россия Ekaterinburg, Russia

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА

(на примере позднесоветской эпохи)

Аннотация. Политические анекдоты являются элементом смеховой культуры общества и в то же время способом выражения социального протеста. Рассматривается протестная роль, которую они играли в позднесоветскую эпоху. Обращается внимание как на действенность, так и на ограниченность этого политического оружия.

Ключевые слова: политические анекдоты; социальный протест; советское общество; смеховая культура; перестройка.

Сведения об авторе: Коряковцев Андрей Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры политологии и организации работы с молодежью.

Место работы: Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург).

Контактная информация: 620142, г.Екатеринбург, ул 8 Марта, 75.
e-mail: akoryakovtsev@yandex.ru.

POLITICAL JOKE AS A MEANS OF SOCIAL PROTEST

(on the example
of late-Soviet epoch)

Abstract. Political joke is an element of social laughter culture and at the same time — it is a means of social protest. This article discusses protest role of political joke during late-soviet epoch. The author pays attention to the effectiveness and limited nature of this political gun.

Key words: political joke; social protest; Soviet society; laughter culture; Perestroika.

About the author: Koryakovtsev Andrey Aleksandrovich, Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Chair of Political Science and Work with Young People.

Place of employment: Ural State Pedagogical University (Ekaterinburg).

620142, Ekaterinburg, 8 Marta St., 75.

Ни в чем так не проявляют исторические эпохи свой неповторимый характер, как в смехе обывателя. Прежде всего потому, что смех — одна из тех редких сфер существования обывателя, где он проявляет свою свободу. Телевизионный клоун может смеяться за деньги, но это смех, за которым стоит серьезный расчет мастера художественной манипуляции. А вот зритель если и засмеется, то только над тем, что действительно считает смешным. В смехе проявляется его истинное, свободное отношение к тому, над чем он смеется. В смехе выражается лишь его собственное свободное чувство юмора. То, над чем смеется народ, является тем, от чего он считает себя внутренне свободным и от чего хочет стать свободным внешне.

Смех либо предполагает равенство между смеющимся и объектом смеха, либо ставит смеющегося над осмеиваемым. Над богом, в которого верят, не смеются. Не случайно в Библии есть всё, даже эротика, однако в ней нет юмора. Смех в священном тексте воспринимается как кощунство, как оскорбление самого Бога. Над Богом смеются только тогда, когда он считается ложным или ниспровергаемым. Так смеются и над партийным вождем и боссом, когда им больше не доверяют. Смех как симптом свободы противоположен догматической вере. Он свидетельствует об автономии личности

и содержит в себе зерно богоборчества и социальной критики. Смеются над тем, чего боятся, но как раз потому, что смех помогает преодолеть страх. Смех позволяет почувствовать дистанцию между смеющимся и осмеиваемым. Освобождение часто начинается с того, что угнетатель в глазах угнетенного становится смешным.

Но сам по себе смех ничего не изменяет в окружающем мире. Поэтому власть порой может его терпеть. Он только обозначает сферу свободы простых людей и объект социальной критики. Поэтому власть его всё же боится.

В советское время одной из форм идейного противостояния гражданского общества режиму были политические анекдоты. Не имея возможности воспрепятствовать их распространению, советская пропаганда утверждала, что они есть продукт творчества враждебных спецслужб. Не будем обсуждать, так это или нет. Фактом является то, что в самом СССР политические анекдоты распространялись без чьей-либо внешней помощи самими обывателями, ибо помогали им дистанцироваться от неласковой повседневности режима, входящего в смертельный кризис. Только этим можно объяснить, что новые анекдоты возникали нередко как парафраз старых, как развитие кем-то выдуманного сюжетного клише. Если даже политические анекдоты изначально имели кон-

кретных авторов (допустим, прописанных в западных спецслужбах), то это означало лишь, что советский народ, толкая их на свой манер в новой исторической ситуации, становился их полноправным соавтором.

Все иные формы гражданского протеста партийно-государственная номенклатура могла запретить и уничтожить. А вот вольный смех уничтожить она оказалась неспособной. Можно, конечно, наказывать за осмеяние «общественных святынь». Но в этом случае сама власть лишь становилась посмешищем для «лагерной пыли». Вольный смех в советское время звучал и за колючей проволокой, ведь его можно уничтожить только вместе со смеющимся.

Общественные явления, которые не удается ликвидировать, власть, как правило, пытается возглавить. Так и в последние («горбачевские») годы советской эпохи, перед лицом нарастающего кризиса, она присвоила протестные символы и протестное содержание гражданских движений, в том числе и их смеховую составляющую. Коммунистическое мировоззрение уже не работало в качестве идеологии, мобилизующей массы, и его безжалостное осмеяние было допущено самой номенклатурой. Героический пафос, на котором держалась идеология режима, постепенно уступал место иронии и юмору, снижающим всякий смысл, выходящий за рамки потребностей обывателя. В результате этого в той общественной ситуации не только мельчал сам юмор, но и изменилось социальное содержание политического антисоветского анекдота: из орудия социальной критики он стал средством социальной апологетики. Сводя социальную критику и сатиру к отрицанию «коммунистического» прошлого, власть выводила из-под удара не менее безрадостное «антикоммунистическое» настоящее.

Таким образом, когда-то страшный и казавшийся неизбежным советский «тоталитарный режим», его ценности, лидеры, идеология и сама социальная система в целом оказались подвергнуты *карнавализации* — сверху и снизу. И обыватель окончательно перестал их бояться. Режим был сведен к символам и идеям, которые высмеивались от имени самой власти. Перемена символа и идей представилась изменением социальной системы как таковой.

Вот почему так неожиданно легко произошел крах советского режима: к концу 1980-х гг. значение СССР в сознании большинства людей было более символическим, нежели реальным. Как символ не столько героического прошлого, сколько убогого настоящего, он стал не нужен почти никому. Но

самое главное состоит в другом: он стал не нужен самой партийно-государственной номенклатуре. Она убедилась в неэффективности советских идеологических и символических форм в деле управления гражданским обществом. В новых исторических условиях политическое господство возможно было осуществлять только встав под знамена протестной идеологии. Манипуляция протестными и охранительными символами и идеологическими штампами в конце 80-х и начале 90-х заменили не только баррикады и политические репрессии, но и реальную трансформацию общественных отношений.

Конечно, еще в советское время, при перестройке, был *легализован* свободный рынок (существовавший в советское время в латентной форме «теневой экономики»), вследствие чего стала развиваться мелкая и средняя частная собственность граждан (собственность так называемых кооператоров и фермеров). Это стало, пожалуй, самым большим завоеванием перестройки в экономической сфере. На данной основе стало зарождаться новое гражданское общество. Однако мелкая и средняя собственность не играла заметной роли в экономике, и во время «радикальных реформ» 1990-х гг. была поставлена под жесткий контроль коррумпированного государства и крупного капитала. А вместе с ее независимостью были уничтожены и ростки нового гражданского общества.

Поэтому «антисоветская революция» 1980-х гг. оказалась виртуальной. И это произошло потому, что виртуален был ее предмет — не система социальных связей, а символы и идеология, связанные с ее становлением и утратившие какой-либо смысл, прежде всего для самих правящих кругов. «Радикальные реформы» 1990-х гг., после уничтожения Советского Союза открывшие эпоху так называемой «приватизации», в действительности только усовершенствовали старую систему управления. «Приватизацию» изображают как уничтожение общественной собственности и рождение собственности частной, но это не верно, поскольку на самом деле она означала только изменение характера частной собственности, ее перераспределение. Из корпоративной собственности партноменклатуры, господствовавшей в СССР (*специфически частной*), она превращалась в собственность отдельных лиц. Но кто были эти лица? Кто был способен выкупить государственные предприятия и наладить их работу? Только тот, кто обладал первоначальным капиталом и соответствующими навыками управления. Это были либо представители возникших

еще в советское время криминальных кругов, либо сама номенклатура, быстро научившаяся конвертировать свою власть в денежный капитал и обратно. В этой трансформации форм частной собственности так же, как и при советском режиме, преобладали силовые («волюнтаристские») методы. Это способствовало воспроизводству не экономических, а прежних административных социальных связей. Таким образом, правильнее было бы говорить, что в 1990-х гг. происходили процессы не приватизации, а включения в легализованный еще в перестройку свободный рынок новых социальных слоев, и прежде всего самой номенклатуры. Криминальный же элемент либо вошел в ее новый состав, либо был вытеснен обратно в «теневой» сектор экономики, либо вообще был изгнан из экономической деятельности в ходе показательных судебных процессов.

В результате социальная революция, ограниченная лишь культурными формами (политическим анекдотом, рок-н-роллом, религиозным возрождением, приобщением к литературе, возвращением из спецхрана, и созданием новых социальных мифов и т. п.) и не могущая представить никакой альтернативы в сфере общественной (экономической и политической) практики, показала свою силу и свое бессилие. Используя политический анекдот (среди всего прочего) как свое духовное оружие, она сама вскоре стала предметом политических анекдотов, получив карикатуру на себя в виде «цветных революций» на Украине и в Грузии.

Таким образом был реализован весь социально-критический багаж гражданского общества советской эпохи — того гражданского общества, которое сложилось в 1960—1970-х гг. Конечно, советское государство всячески препятствовало его независимому формированию и развитию, подвергая репрессиям его деятелей. Однако в то же время сам советский строй, а именно свойственные ему бесплатные социальные услуги, почти полное отсутствие безработицы, гарантированный прожиточный минимум и, наконец, щадящие условия труда, способствовал развитию личности и, стало быть, гражданского общества, в такой степени, что власть, стоящая на страже этого строя, ничего не могла с этим процессом поделать. Таким образом, и тот, кто ругает «тоталитарный совок», и тот, кто ностальгически вспоминает о нем, — *оба правы*. Только первый говорит об отношении государства к гражданскому обществу, а второй — об общественных отношениях, существующих *помимо* государства и даже *вопреки* ему. То и другое взаимно друг друга обуславливало

и существовало в рамках одной и той же социальной системы. Советское государство развивало сферу общественного потребления, но потребности людей выходили за рамки, предусмотренные идеологией, вкусами, психологическими и идейными установками, сформировавшимися в прежнюю эпоху становления индустриальной цивилизации. В результате возникла неофициальная культура, представленная не только такими влиятельными личностями, как И. Бродский, Б. Окуджава, Б. Гребенщиков (этот список можно продолжить), но и сотнями тысяч безвестных авторов и рассказчиков ставших тогда популярными политических анекдотов.

1960-е и 1970-е гг. на самом деле не были эпохой «застоя», как утверждала диссидентская и эмигрантская антисоветская пресса. Это было время чрезвычайно продуктивного духовного развития гражданского общества. Как раз наоборот, десятилетия, последовавшие вслед за крахом Советского Союза, в идейном отношении не дали ничего принципиально нового. Власть, присвоив протестные смыслы и символы, способствовала свертыванию гражданской активности. Этим объясняется то, что в условиях формальной демократии, в 1990-х и нулевых годах, российская культура переживает крайний упадок, выразившийся в повсеместном политическом конформизме и религиозном возрождении. Гражданское общество пореформенной России либо воспроизводило смыслы, высказанные в пресловутую эпоху «застоя», либо осваивало идеи, пришедшие с Запада (неолиберализм, постмодернизм и пр.). В обоих случаях это означало *действительный* интеллектуальный застой. «Старые песни о главном» (телевизионная передача 1990-х гг., в которой новые исполнители пели советские песни) стали нескончаемыми, обрели статус официальной идеологии. И чем старше они были, тем больше годились для обоснования новой власти. В конце концов в первые президентские сроки В. В. Путина это вылилось в частичную реконструкцию перераспределительной экономики и политической вертикали под прикрытием официальной религиозности и ценностей традиционализма. Во многом эта эволюция была вынужденной реакцией правящих кругов на практическую несостоятельность левых и либерально-демократических социальных проектов (равным образом как «демократического социализма», так и «капитализма с человеческим лицом»). Дело, таким образом, не столько в том, что нынешняя власть в России плоха, сколько в том, что власть предыдущая, как и нынешняя оппозиция, — *еще хуже*.

Таким образом, круг замкнулся. Общественные отношения (базирующиеся на силовом управлении и административных связях), на которых основывался советский строй, воспроизвелись, но на новом уровне и в рамках иной идеологии. В старые меха влили новое вино, впрочем, булькающее и пьянящее по-старому. Прежнее содержание общественных отношений, прежние ритуалы и штампы общественного поведения никуда не исчезли, они просто приняли новый облик. Из страны «победившего социализма» современная Россия превратилась в страну победившего постмодернизма, культивирующего эклектику и смешение стилей. В результате наложения двух культур — старой, советской, и нынешней, консервативной, — друг на друга возникла дикая эклектика: иные коммунисты молятся Богу, а в рядах РПЦ возникло движение, ратующее за возведение Сталина в ранг святого. Сейчас уже речи «демократических» начальников и религиозных лидеров по своему содержанию всё более похожат на речи генсеков

поздней советской эпохи. Российская повседневность вновь заполнилась комическими сюжетами и персонажами. Общественный абсурд воспроизводится в расширенном виде. Это означает, что возникает пища для новых политических анекдотов! Их появление на страницах печатных СМИ и Интернета говорит как минимум о начале формирования нового гражданского общества, о скором рождении новых социально-критических смыслов и идей. Правда, с непредсказуемым результатом.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса (1965 г.) // М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 4 (2). — М. : Языки славянских культур, 2010. С. 7—508.
2. *Коряковцев А.* Идеология социального протеста в советскую эпоху. Начальный этап эволюции // Социс. 2010. № 6 С. 35—45.
3. *Раскин И.* Энциклопедия хулиганствующего ортодокса. — М. : Стоок, 1999.

Статью рекомендует к публикации д-р полит. наук Л. Г. Фишман